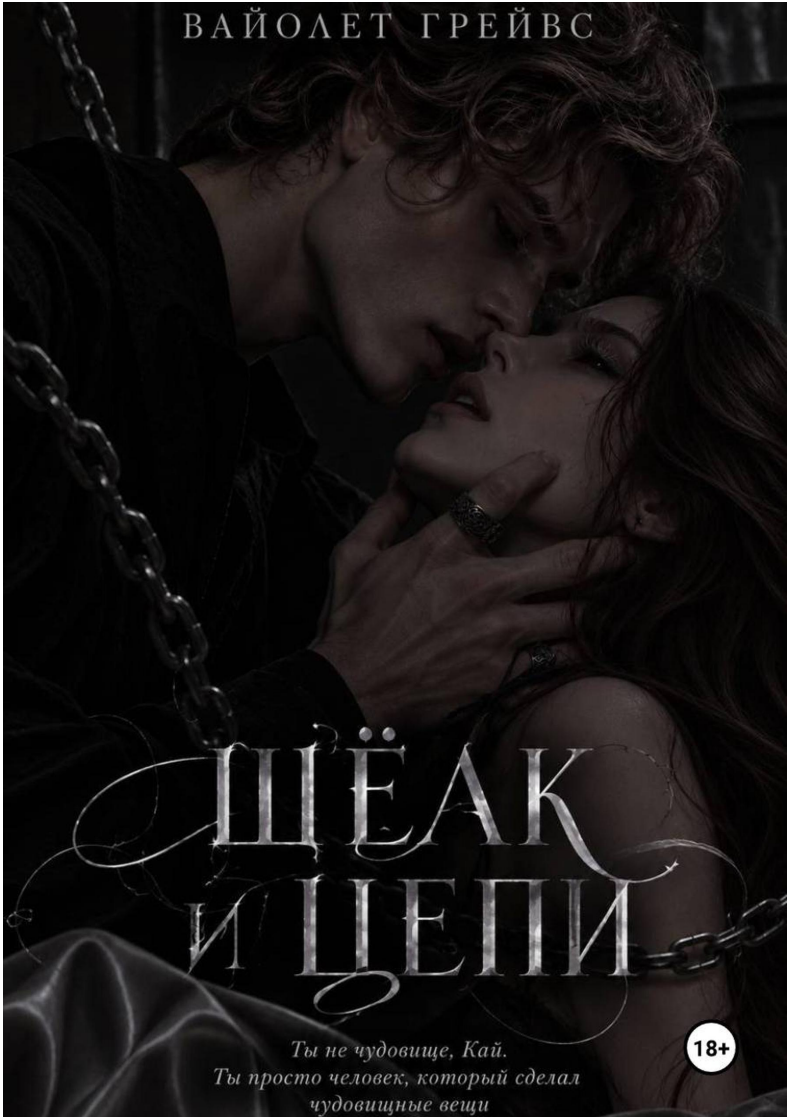

ВАЙОЛЕТ ГРЕЙВС
ЩЁЛК И ЩЕПИ
Ты не чудовище, Кай.
Ты просто человек, который сделал чудовищные вещи
18+

Вайолет Грейвс
Шёлк и цепи

https://litres.ru/74699689
SelfPub; 2026

Аннотация

Я не должна была выжить. Но я выжила.

Меня зовут Ева. Я всегда была тихой. Незаметной. Девушкой с книгой, которая боялась даже собственных мыслей.

Однажды вечером меня затолкали в фургон.

Я проснулась в бункере. На ноге — цепь. Напротив — он. Кай. Красивый. Обаятельный. Студент-психиатр с идеальной улыбкой. И монстр, который ломает девушек, чтобы понять, как устроен страх.

Все сдавались за три дня. Я держусь неделю. Потом вторую.

Он думает, что изучает меня. Но я вижу, как он смотрит. Как сжимаются его пальцы. Как он впервые в жизни не знает, что делать.

Он хотел сломать меня. Я хочу понять его. И чем ближе я подбираюсь к правде — тем страшнее понимаю: я больше не хочу бежать.

«Шёлк и цепи» — моя история. О ненависти, которая становится одержимостью. И о том, что иногда клетка — это не место. Это человек.

Содержание

Предисловие.	4
Глава 1. Ева	6
Глава 2. Ева	7
Глава 3. Ева	14
Глава 4. Ева	22
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Шёлк и цепи

Предисловие.

Эта книга — не руководство. Не оправдание. Не романтизация.

Я написала её потому, что история сама просила быть рассказанной. Но я хочу, чтобы ты, читатель, с самого начала знал: всё, что происходит на этих страницах, — неправильно. Похищение — это преступление. Удержание человека против воли — это преступление. Унижение, контроль, стирание личности — это не «суровая любовь» и не «особая связь». Это насилие. И оно не имеет оправдания — ни гениальностью, ни детской травмой, ни благими намерениями.

Мой герой — не романтический принц с тёмным прошлым. Он преступник. Он причинял боль. Он ломал людей. И то, что в этой истории есть любовь, не отменяет того, что было до неё. Любовь не заглаживает вину. Она не перечёркивает содеянное. Она просто существует — рядом с виной, рядом с болью, и не всегда побеждает. Я не оправдываю ни одного его поступка. Я также не оправдываю употребление наркотиков, алкоголя и любого другого способа уйти от реальности. Зависимость — это не свобода. Это клетка, которую человек строит сам, а потом удивляется, почему в ней так тесно. Если ты узнал себя в чём-то из этого — пожа-

луйста, обратись за помощью. Это не слабость. Это шаг. Эта книга — вымысел. Но проблемы, которые она поднимает, реальны. Насилие в отношениях. Психологическое давление. Стокгольмский синдром, который часто путают с любовью. Травма, которая передаётся из поколения в поколение, пока кто-то не остановит её.

Я не хочу, чтобы кто-то прочитал эту историю и решил, что быть жертвой — романтично. Или что «он изменится, если я постараюсь». Или что любовь может оправдать то, что оправдать нельзя. Я хочу, чтобы ты прочитал её и почувствовал: это может случиться с каждым. И каждый имеет право сказать «нет». Каждый имеет право уйти. Каждый имеет право на безопасность — без условий, без «но», без «а что, если он изменится». Моя героиня выжила. Но выживание — не то же самое, что счастье. И то, что она осталась, — это её выбор, её путь. Не образец для подражания. Не рецепт.

Эта книга — о тьме. Но я верю, что даже в самой густой тьме человек может найти свет. Не потому, что кто-то дал его. А потому, что он сам решил его зажечь.

Если тебе больно читать — остановись. Закрой книгу. Позаботься о себе. Это важнее любой истории.

С уважением,Автор Вайолет Грейвс.

Глава 1. Ева

Я всегда думала, что если меня когда-нибудь похитят, то это будет вечером, в тёмном переулке, и я будет кричать. На самом деле всё случилось в шесть часов вечера, на людной улице, под мелким осенним дождём — и я не издала ни звука.

Меня зовут Ева и я шла с университета, прижимая к груди книгу — потрёпанный сборник рассказов, который взяла в библиотеке. Капли сбивались о ткань куртки. Я думала о том, что дома её ждёт холодный чай и незаконченный конспект, и что, может быть, сегодня я наконец сяду и напишу хоть строчку. Хоть одну. Я обещала себе это уже три месяца.

Я учусь в университете на факультете литературного творчества.

Фургон остановился у тротуара так буднично, что я не сразу поняла, что происходит. Дверь отъехала. Чья-то рука — большая, в чёрной перчатке — схватила меня за локоть мёртвой хваткой. Тряпка с резким, сладковатым запахом накрыла лицо.

- Что за...

Последнее, что я запомнила, — книга выскользнула из рук и упала в лужу, раскрывшись на середине. Страницы мгновенно промокли.

Глава 2. Ева

Я проснулась от холода. Не того мягкого холода, что бывает ранним утром, когда одеяло ещё хранит тепло тела и можно просто натянуть его повыше. Этот холод был другим — он забирался под кожу, вгрызался в кости, оседал в лёгких при каждом вдохе. Матрас подо мной был тонкий, серый, с тёмными пятнами, происхождение которых я не хотела знать. Стена за спиной — бетонная, шершавая, с потеками конденсата. Пахло сыростью и чем-то металлическим — кровью? ржавчиной? — и этот запах застревал в горле, как прогорклое масло.

Я села. Резко, слишком быстро — и мир качнулся. Голова закружилась, во рту пересохло так, что язык прилипал к нёбу. И тогда я услышала это.

Звяк.

Цепь на моей ноге. Тяжёлая, с толстыми звеньями, она уходила куда-то в стену, к вмурованному в бетон кольцу. Я посмотрела вниз: широкий железный браслет охватывал лодыжку, и — вот что странно — под металлом была подложена ткань. Мягкая, серая, аккуратно обёрнутая в несколько слоёв. Чтобы не натирал. Чтобы не оставлял следов.

Я уставилась на эту ткань, и по спине поползло что-то липкое, куда более неприятное, чем страх. Странная забота. Такая же неуместная здесь, как цветы на кладбище. Кто-то ду-

мал обо мне. Кто-то позаботился, чтобы я не поранилась. И это пугало больше, чем сама цепь.

Комната была маленькая — три шага в длину, два в ширину, если шагать. Голая лампочка под потолком, без абажура, с пыльным стеклом. Она мигала — едва заметно, с частотой, от которой начинали болеть глаза, если смотреть долго. В углу — ведро. Эмалированное, с отбитой эмалью. Больше ничего. Ни окна, ни кровати, ни стула. Только матрас, бетон и я.

Я обхватила колени руками. Ногти впились в кожу — больно, но это помогало держаться. Не кричать. Не плакать. Не биться в панике о стены, как зверь в клетке. Внутри было тихо — так тихо, как бывает только в снегу, когда мир замирает и звуки глохнут в белой пустоте. Я знала это состояние. Оно приходило ко мне в самые плохие дни, и тогда я просто переставала чувствовать.

Почему-то вспомнилась бабушка. Её руки в муке, её тихий голос: «Когда страшно, Ева, считай до десяти и дыши. Мир подождёт».

Я начала считать. Досчитала до десяти — не помогло. До пятидесяти — сердце всё ещё колотилось где-то в горле. До ста двадцати — и только тогда, в этой цифре, в её округлой завершённости, я почувствовала, что могу вдохнуть полной грудью.

Мир подождал.

Я сидела так, наверное, час. Или два. Время здесь текло

иначе — вязко, как мёд. Лампочка мигала. Цепь холодила кожу даже сквозь ткань. Я успела изучить каждый скол на бетоне, каждую трещину, каждый тёмный развод на стене — и в какой-то момент поймала себя на мысли, что запоминаю это место. На случай, если придётся вспоминать. Если придётся рассказывать кому-то.

Если придётся выбираться.

Шаги я услышала раньше, чем поняла, что это они. Мерные, спокойные, без спешки. Так ходят люди, которым нечего бояться. Которые знают, что дверь заперта с их стороны. Звук приближался по коридору — я представила длинный бетонный тоннель, лампы на потолке, тени, вытягивающиеся за спиной идущего.

Замок щёлкнул. Дверь открылась без скрипа — петли были смазаны, и эта деталь почему-то врезалась в память острее всего. Всё здесь было продумано. Всё — до мелочей.

Вошёл мужчина.

Высокий — мне пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть его лицо. Широкоплечий, с фигурой человека, который привык носить тяжёлое и не считает это чем-то особенным. Тёмная рубашка, рукава закатаны до локтей, ткань облегает предплечья. Русые кудри падали на лоб — непослушные, чуть влажные, будто он только что умылся. Глаза — тёмно-коричневые, почти чёрные в этом скупом свете, без дна, без отражения лампочки.

А в руке он держал мою книгу.

Мокрую. Страницы разбухли и пошли волнами, обложка покоробилась, уголки слиплись. «Сердце тьмы» — та самая, с закладкой на середине. Я узнала её мгновенно, и внутри что-то дёрнулось — не страх, нет. Обида. Глупая, неуместная обида на то, что вещь, которую я любила, теперь выглядела так, будто её выловили из канализации.

Он листал страницы, и они шуршали — тяжело, влажно. Влажный звук в тишине бетонной комнаты.

— Ты читаешь про монстров, — сказал он. Голос низкий, ровный, без угрозы — и от этого ещё более жуткий. — «Сердце тьмы». «Дракула». «Франкенштейн». — Он поднял взгляд от книги. — А теперь посмотри на одного вживую. Нравится?

Я смотрела на него. Сердце билось где-то в горле — я чувствовала его пульс в висках, в кончиках пальцев, в неровном звяканье цепи, которая дрожала вместе со мной. Но голос, когда я заговорила, оказался ровным. Даже я удивилась.

— Ты испортил книгу. Её надо было сушить под прессом, а не... так.

Он замер.

Я видела, как что-то прошло по его лицу — тень, отблеск, что-то, что нельзя было назвать. Он смотрел на меня, и в этом взгляде было непонимание. Как будто я сказала слово на языке, которого он не ожидал услышать. А потом он рассмеялся — коротко, удивлённо. Смех был сухой, без тепла, как щелчок выключателя.

— Ты первая, — сказал он, — кто начал с книги.

Он присел на корточки. Одним плавным движением, без усилия, и теперь его лицо оказалось на одном уровне с моим. Близко. Слишком близко — я видела прожилки на его радужке, видела крошечный шрам на брови, видела, как дёргается жилка на шее. От него пахло чем-то чистым — мылом? холодной водой? — и этот запах странно контрастировал с затхлостью комнаты.

— Я Кай, — сказал он. — Ты — Ева. Я знаю о тебе больше, чем ты думаешь.

Он перечислял. Спокойно, размеренно, как читают список покупок.

— Двадцать лет. Живёшь одна. Мать умерла — рак, три года назад, ты сидела с ней до конца. Отец ушёл, когда тебе было шесть, и ты до сих пор хранишь его фотографию в верхнем ящике комода, хотя сама себе в этом не признаёшься. Любишь читать — в основном ужасы и готику, потому что в выдуманных кошмарах есть правила, а в настоящих нет. Боишься писать — у тебя в ноутбуке папка с набросками, которую ты не открывала восемь месяцев, потому что уверена, что всё, что ты делаешь, — недостаточно хорошо. Робкая. Тихая.

Он склонил голову набок, и кудри упали на глаза.

— Скучная.

Это слово упало в тишину, как камень в воду. Я почувствовала, как оно расходится кругами — по рёбрам, по гор-

лу, по кончикам пальцев. Скучная. Он знал обо мне всё — и всё, что он знал, сводилось к одному слову. Скучная. Я сжала колени крепче, чтобы руки не дрожали.

— Зачем я тебе? — спросила я.

— Это я и хочу выяснить. — Он поднялся, и его тень на стене выросла, растянулась, накрыла меня с головой. — Каждый день я буду задавать тебе вопросы. Ты будешь отвечать честно. Если соврёшь — я узнаю. У меня хорошая память.

Он направился к двери. Шаги — те же, мерные, спокойные. У порога он остановился, но не обернулся.

— И, Ева. — Пауза. Достаточно долгая, чтобы я успела вдохнуть и не выдохнуть. — Не пытайся меня разжалобить. У меня нет сердца. Врачи проверяли.

Дверь закрылась. Замок щёлкнул — два оборота, я считала.

И только тогда, в тишине, я позволила себе заплакать. Беззвучно, уткнувшись в колени, впившись зубами в ткань джинсов, чтобы не вырвалось ни звука. Слёзы были горячие — единственное тёплое, что осталось в этой комнате. Они катились по лицу, капали на серый матрас, и я думала о том, что он, наверное, слышит. Что он стоит за дверью и слушает, как я ломаюсь.

Я плакала — и в то же время считала. До десяти. До пятидесяти. До ста двадцати.

Мир подождёт.

Но где-то под рёбрами, там, где страх смешивался с чем-

то другим — упрямым, злым, живым, — росла мысль, которую я не стала бы произносить вслух даже под пытками:

Он сказал, что у него нет сердца.

Значит, придётся проверить.

Глава 3. Ева

Он пришёл на следующее утро. Я не спала — или спала, но так, что сон не отличался от яви: та же лампочка, мигающая с частотой, от которой сводило глаза, тот же холод, заползающий под одежду, та же цепь, звякающая при каждом движении. Я слышала, как он идёт по коридору. Теперь я узнавала его шаги — размеренные, без спешки, с одинаковым интервалом между ударами подошвы о бетон. Так ходят люди, которые никуда не опаздывают. Которые знают, что мир вокруг подстроится под их ритм.

Замок щёлкнул — два оборота. Дверь открылась.

Он вошёл, и в комнате словно стало меньше воздуха. Кай — я заставила себя называть его по имени, потому что безымянный монстр страшнее неизвестного, и это было первое, что я решила: у всего должен быть ярлык, — держал в одной руке пластиковую бутылку воды, в другой — кусок хлеба. Простой, деревенский, с золотистой коркой. Он поставил всё на пол и подтолкнул ко мне носком ботинка.

Ботинки были тяжёлые, кожаные, с потёртыми носами. Ухоженные. Он следил за обувью. Почему-то эта деталь застряла в голове — ещё одна трещина в образе бесплотного монстра. Монстры не чистят ботинки.

— Ешь. Потом поговорим.

Я взяла хлеб. Он был свежий — мягкий внутри, с хрустя-

щей коркой, и пах так, что у меня закружилась голова. Я не помнила, когда ела в последний раз. Дома? До того, как?.. Память услужливо подсунула обрывок: чашка чая, недоеденный бутерброд, экран ноутбука с открытой папкой набросков. Восемь месяцев назад. Я тогда закрыла ноутбук и пообещала себе вернуться к этому завтра. Завтра не наступило.

Я откусила. Прожевала медленно, заставляя себя не торопиться, хотя руки дрожали от желания впиться зубами в мякиш и проглотить всё разом. Запила водой. Вода была холодная, чистая, без привкуса — не из-под крана, а бутилированная. Ещё одна деталь. Ещё одна трещина.

Кай тем временем разложил складной стул — металлический, с брезентовым сиденьем — и сел напротив. В руках у него появились блокнот и ручка. Обычные, канцелярские. Блокнот был новый, с нетронутыми уголками, а ручка — шариковая, синяя, с колпачком, который он рассеянно крутил между пальцами.

— Скажи мне, что ты чувствуешь, — сказал он. — Не «страшно». Точнее. Ты боишься меня — или того, что я могу сделать?

Я опустила глаза. На матрасе, между коленями, лежал недоеденный хлеб. Крошки прилипли к пальцам, и я вдруг подумала, что это первая еда за... сколько? День? Два? Время здесь текло вязко, как смола, и я уже не понимала, где кончается один день и начинается другой.

Я подняла глаза.

— Я боюсь, что ты не человек, — сказала я тихо. — Люди так не смотрят. Как будто я не живая. Как будто я... картинка.

Я сама не знала, откуда взялись эти слова. Они просто вышли — ровно, без дрожи, как будто я репетировала их всю ночь. Может, и репетировала. Может, в той тишине, между сном и явью, я проговаривала их про себя, готовясь к этому разговору. Анализируя. Потому что если я не буду анализировать — если позволю себе просто чувствовать — я сломаюсь, и тогда он победит.

Кай что-то записал. Ручка скользила по бумаге быстро, размашисто. Он не поднял глаз.

— Интересно. Продолжай.

— Ты не злишься, — сказала я. — Не спешишь. Ты как будто... проверяешь меня. Как программу на вирусы.

Я запнулась, потому что поняла, что говорю слишком много. Слишком честно. Но было поздно — слова уже сорвались, и теперь они висели в воздухе, как дым, и он смотрел на меня поверх блокнота.

— А ты не глупа, — сказал он. — Остальные начинали кричать или умолять. Ты — анализируешь.

Он закрыл блокнот. Резко, с хлопком, от которого я вздрогнула.

— Хорошо. Завтра будет сложнее.

— Почему ты это делаешь?

Вопрос вырвался прежде, чем я успела его остановить. Я не собиралась спрашивать — не хотела показывать, что мне

не всё равно, что мне нужно понимать. Но я всегда была такой. Мне нужно было знать, как устроены вещи. Бабушка говорила, что это проклятие, а мама — что это дар. Обе умерли, так что проверить не у кого.

Кай встал. Стул под ним скрипнул — брезент натянулся и опал.

— Потому что мне нужно знать, — сказал он, — есть ли предел у человеческой психики. Или можно сломать всё и собрать заново.

Он произнёс это так спокойно, будто говорил о ремонте. Будто я была шкафом с расшатанными петлями, а он — мастером, который прикидывает, хватит ли струбцин.

— Ты психопат.

Слово сорвалось само. Я не успела прикусить язык, не успела проглотить его обратно. Внутри что-то дёрнулось — злое, упрямое, то самое, что прошлой ночью шептало: «придётся проверить». Я сжала кулаки, впилась ногтями в ладони и приготовилась к тому, что он сделает. Ударит? Заорёт? Сломает что-нибудь?

Он не сделал ничего.

— Социопат, — поправил он спокойно. — Психопаты импульсивны. Я — нет.

Он посмотрел на меня сверху вниз. В этом взгляде не было обиды — только оценка. Как будто я только что допустила ошибку в расчётах, и он отмечал, где именно.

— И, Ева. Не оскорбляй меня. Это единственное, что мо-

жет меня разозлить.

Он ушёл. Шаги — те же, мерные, с одинаковым интервалом. Замок щёлкнул дважды. Я прислонилась затылком к холодной стене и закрыла глаза. Бетон был ледяной, и от него по затылку расходилась тупая, ноющая боль. Я слышала, как в коридоре затихают шаги, как хлопает где-то далеко дверь, как устанавливается тишина — плотная, как вата, в которой глохнут звуки.

Я не знала, сколько ещё выдержу.

Эта мысль пришла не в панике, а буднично, как считают дни до зарплаты. Сколько ещё выдержу — это тело, эту цепь, этот холод, эти вопросы, которые он будет задавать каждый день, вгрызаясь всё глубже. Он сказал: «завтра будет сложнее». Значит, сегодня было легко. Значит, он только начал. Я подтянула колени к груди. Хлеб я доела — весь, до последней крошки, собрала их с матраса и отправила в рот. Не из голода — из какого-то упрямства. Назло. Он дал мне еду, чтобы я не сдохла, — значит, я буду есть. Буду жить. Буду анализировать. Буду считать до ста двадцати.

Но было и другое.

Впервые за долгое время — за годы, если честно, — я чувствовала, что меня наконец слышат.

Мама слушала меня, но она всегда спешила — то на работу, то к врачу, то просто уставала так, что глаза закрывались сами. Бабушка слушала, но умерла, когда мне было четырнадцать. Друзья... друзей не было. Были коллеги, были соседи,

были люди в интернете, которые ставили лайки под постами и никогда не читали их до конца. Я привыкла говорить в пустоту — и привыкла к тому, что пустота не отвечает.

А Кай слушал.

Он записывал. Он задавал вопросы. Он поправлял меня, когда я ошибалась, и смотрел так, будто каждое моё слово имеет значение — пусть даже значение подопытного кролика в лаборатории. Но это было внимание. Настоящее. Сфокусированное. Я была для него не фоном, не шумом, не строчкой в ленте. Я была предметом изучения.

И это пугало больше всего.

Потому что где-то под рёбрами, там, где страх смешивался с одиночеством и с той упрямой, злой, живой частью меня, которая не хотела сдаваться, — там шевелилось что-то ещё. Что-то, что тянулось к этому вниманию, как растение к свету. Что-то, что хотело, чтобы он продолжал спрашивать. Чтобы продолжал слушать. Чтобы — хоть так, хоть через цепь и бетон — видел меня.

Я открыла глаза. Лампочка мигала. Цепь лежала на матрасе, тускло поблёскивая.

«Ты скучная», — сказал он вчера.

Я вспомнила папку на ноутбуке. Восемь месяцев. Восемь месяцев я не открывала её, потому что была уверена, что всё, что я делаю, — недостаточно хорошо. Потому что боялась увидеть собственные слова и понять, что они пустые. Потому что проще было не писать вообще, чем писать и знать, что

это плохо.

А он сказал: «интересно».

Он сказал: «а ты не глупа».

Он сказал: «остальные начинали кричать или умолять. Ты — анализируешь».

Я провела рукой по лицу. Щёки были мокрые — когда я успела заплакать? Я не заметила. Слёзы шли сами, тихо, без всхлипов, как будто тело плакало отдельно от меня, пока голова занималась другим. Длинные каштановые волосы прилипли к щекам.

Мне нужно было держаться. За что-то. За что угодно.

Я подумала о бабушке. О её руках в муке, о её тихом голосе. «Когда страшно, Ева, считай до десяти и дыши. Мир подождёт».

Мир подождал вчера. Подождёт и сегодня.

Я начала считать. До десяти. До пятидесяти. До ста двадцати.

А потом я сделала то, чего не делала уже очень давно. Я начала сочинять.

В голове, медленно, слово за словом, складывалась история. О девушке в бетонной комнате. О мужчине без сердца. О том, как она считала до ста двадцати и придумывала ему имена — потому что у всего должен быть ярлык, потому что имя даёт власть, потому что если она назовёт его, он перестанет быть монстром и станет просто человеком. А человеком можно управлять.

Я не знала, хорошая ли это история.
Но впервые за восемь месяцев я хотела её записать.

Глава 4. Ева

На четвёртый день он повёл её не в комнату для разговоров. Она ждала его утром — с той же покорностью, которая уже начала её пугать, потому что покорность приходила слишком легко, слишком естественно, как будто тело само решило, что сопротивляться бессмысленно. Она сидела на матрасе, считала до ста двадцати и слушала шаги. Два оборота замка. Дверь.

Но вместо складного стула и блокнота он просто кивнул ей в сторону коридора.

— Вставай. Пойдём.

Цепь он отстегнул от стены — быстро, привычным движением, как будто делал это тысячу раз. Браслет остался на лодыжке, но теперь от него тянулся не короткий поводок, а длинная цепь, которую Кай держал в руке, свободно, без натяжения. Как поводок для собаки. Я почувствовала, как что-то внутри сжалось от унижения, — и тут же одёрнула себя. Унижение — это роскошь. Унижение — это когда тебе есть что терять.

Коридор оказался длиннее, чем я думала. Бетонный, с низким потолком, с лампами в металлических сетках — такие ставят в подвалах и на складах. Мы шли мимо закрытых дверей — я считала их: одна, две, три, четыре. Пятая была приоткрыта, и я успела заметить край стола, край монитора,

зелёный огонёк на панели. Комната с камерами. Та самая, откуда он, наверное, смотрел на меня первые дни.

А потом коридор закончился, и мы вошли в комнату, от которой у меня перехватило дыхание.

Белая.

Всё было белым — стены, пол, потолок. Не просто покрашенным в белый, а стерильным, больничным, вымытым до блеска. Свет был рассеянный, без теней, как будто он шёл отовсюду сразу. В центре комнаты стоял металлический стул — тяжёлый, с подлокотниками и ремнями. На стене — большое зеркало. Не круглое, не овальное — прямоугольное, в металлической раме, отполированное до такой чистоты, что в нём отражалась вся комната, кроме того, что было за стеклом.

Я поняла.

За стеклом кто-то был. Или бывал. Или будет. Зеркало было односторонним — я видела такие в фильмах, в полицейских участках, в психиатрических клиниках. За ним — тёмное помещение, стулья, люди с блокнотами. Наблюдатели. Свидетели. Или просто Кай, который любил смотреть.

— Садись, — сказал он.

Я села. Металл был холодный, даже сквозь джинсы. Спинка стула оказалась жёсткой, с выступом, который упирался между лопаток. Я положила руки на подлокотники — сама, без принуждения, потому что понимала, что это бесполезно.

Он затянул ремни на запястьях. Кожаные, широкие, с

пряжками. Не туго — я всё ещё могла шевелить пальцами, — но так, что руки были пристёгнуты к подлокотникам, и любое движение вперёд встречало сопротивление. Потом он присел на корточки и проверил ремень на моей лодыжке — тот самый, с тканью. Поправил ткань. Молча.

А потом включил лампу над моей головой.

Свет был резкий, белый, режущий. Я зажмурилась — и сразу открыла глаза, потому что он стоял и смотрел. Лампа висела прямо надо мной, на подвижном кронштейне, и её луч падал так, что лицо в зеркале стало плоским, заострённым, чужим. Тени ушли. Осталось только лицо — бледное, с белыми ресницами, почти невидимыми на фоне кожи, с тёмными глазами, которые в этом свете казались двумя провалами.

— Сегодня мы поговорим о тебе, — сказал Кай. Он сел напротив — на такой же металлический стул, но без ремней. — Ты будешь смотреть в зеркало. И говорить мне, что ты видишь.

— Я вижу себя.

— Нет. — Он покачал головой. Медленно, с расстановкой, как учитель, который объясняет очевидную вещь нерадивому ученику. — Ты видишь девочку, которая всю жизнь пряталась. За книгами. За маминой юбкой. За молчанием. Скажи мне, кто она.

Я посмотрела в зеркало.

Бледное лицо. Белые ресницы — почти невидимые, как у

альбиноса, хотя я не была альбиносом. Такие же белые брови. Ониксовые глаза — так говорила мама, когда я была маленькой. «У тебя глаза как оникс, Ева. Чёрные, как ночь». Она говорила это с нежностью, но я всегда слышала в этом что-то другое. Что-то вроде предупреждения.

Я всегда казалась себе незаметной. Как будто меня можно стереть ластиком, и никто не заметит. Как будто я — черновик, который забыли выбросить. Я помнила, как в школе учительница вела список — и всегда останавливалась на моей фамилии, будто вспоминала, что я вообще существую. Помнила, как в магазине продавщица смотрела сквозь меня. Помнила, как мама гладила меня по голове и говорила: «Ты у меня тихая. Тихая и хорошая». И я кивала, потому что быть тихой и хорошей — это ведь не плохо, правда? Это ведь то, чего от тебя ждут.

— Она... никто, — сказала я тихо.

— Громче.

Я вздрогнула. Голос Кая был ровным, но в нём появилась новая нота — что-то твёрдое, как металл под бархатом.

— Она никто.

— Ещё громче.

— Она никто! — крикнула я, и голос сорвался.

Эхо ударилось о белые стены, заметалось, рассыпалось. Я услышала собственный крик со стороны — и он показался мне чужим. Как будто кричала не я, а та девочка в зеркале. Та, которая пряталась. Та, которая молчала. Та, которая всю

жизнь думала, что если её не видно, то и боли не будет.

Кай откинулся на спинку стула.

В его глазах было что-то странное. Не удовольствие — я ждала удовольствия, готовилась к нему, искала в его лице ту холодную улыбку, которую видела в первый день. Не злость. Что-то похожее на... интерес. Как у учёного, который наконец увидел реакцию, которую предсказывал, но до конца не верил, что она возможна. Как будто я была не подопытным кроликом, а редкой реакцией в пробирке — той, ради которой стоило ждать.

— Хорошо, — сказал он. — Теперь скажи мне, кто ты.

Я молчала.

Слёзы текли по щекам — я чувствовала их, тёплые, солёные, — но не всхлипывала. Просто смотрела в зеркало. На девочку с бледным лицом и тёмными глазами, которая сидела на металлическом стуле, пристёгнутая ремнями, и плакала беззвучно. Я видела, как дрожат её губы. Видела, как дёргается жилка на шее. Видела, как она сглатывает — судорожно, часто, как будто в горле застрял комок.

— Я не знаю, — прошептала я. — Я не знаю, кто я. Я всю жизнь читала про других. Я не знаю, как быть собой.

Это была правда. Такая простая и такая страшная, что я сама удивилась, как легко она вышла. Всю жизнь я читала про других — про героинь, которые знали, чего хотят, про злодеев, которые знали, зачем делают то, что делают, про монстров, у которых были мотивы и цели. Я читала и при-

меряла их на себя, как примеряют чужие платья в магазине, — и каждый раз понимала, что не моё. Не по размеру. Не по фигуре.

Кай встал.

Он подошёл ко мне. Наклонился — так близко, что я почувствовала запах его одеколона. Что-то древесное, холодное, с едва уловимой ноткой мяты. Запах человека, который следит за собой. Запах человека, который не позволит себе распуститься — даже в подвале, даже среди бетона и сырости.

— Вот с этого и начнём, — сказал он.

Он отстегнул ремни. Сначала правый, потом левый. Пряжки щёлкнули, кожа ослабла, и кровь прилила к запястьям — я почувствовала, как под кожей застучало, заныло, зажгло. Я опустила руки на колени и поняла, что они дрожат.

А потом он коснулся моей щеки.

Почти нежно. Большим пальцем, медленно, от скулы к подбородку — стерев слезу. Кожа у него была тёплая, чуть шершавая на подушечке пальца, и от этого прикосновения по мне прошла дрожь, которую я не смогла подавить. Я замерла. Перестала дышать. Он смотрел на меня — сверху вниз, тёмными глазами, в которых не было ни жалости, ни торжества. Только то же самое — интерес. И ещё что-то. Что-то, что я не смогла назвать.

— Остальные ломались на третий день, — сказал он. — Ты держишься неделю. Почему?

Я посмотрела на него. На его лицо — близко, слишком близко, — на русые кудри, падающие на лоб, на шрам на брови, на губы, сжатые в тонкую линию. Я думала о том, что он сейчас услышит. Думала о том, что это будет правдой — и что правда, возможно, единственное оружие, которое у меня осталось.

— Потому что я уже знаю, что я никто, — ответила я. — Ты не можешь отнять то, чего нет.

Он долго смотрел на меня.

Я видела, как что-то меняется в его лице — едва заметно, как рябь на воде. Удивление? Нет. Что-то глубже. Как будто я сказала то, чего он не ожидал, — и это выбило его из сценария. На секунду. На один короткий вдох.

Потом он выпрямился. Убрал руку. И ушёл, не сказав больше ни слова.

Дверь закрылась. Я осталась одна — на металлическом стуле, в белой комнате, перед зеркалом. Ремни лежали на подлокотниках, свободные, как сброшенная кожа. Лампа всё ещё горела, и свет резал глаза, но я не отворачивалась. Я смотрела на девочку в зеркале.

Она больше не казалась мне чужой.

Она казалась мне... началом.

Я не знала, сколько прошло времени. Может, час. Может, больше. Я сидела на стуле, растирая запястья, и смотрела в зеркало — уже без страха, с каким-то новым, странным чувством. Как будто я знакомилась с собой заново. Как будто

та девочка, которую я видела, была не мной, а кем-то, кого я встретила впервые, — и с кем мне предстояло ещё долго разговаривать.

Потом дверь открылась. Кай вошёл — молча, без блокнота, без стула. Он подошёл ко мне и протянул руку. Не поводок. Просто руку.

Я взяла её. Пальцы у него были тёплые, сухие, сильные. Он помог мне встать — и я заметила, что ноги у меня затекли, что колени дрожат, что я держусь за него чуть дольше, чем нужно.

Он это заметил. Конечно, заметил.

Он ничего не сказал.

Мы шли обратно по коридору — медленнее, чем в первый раз, — и я краем глаза видела его профиль. Кай смотрел прямо перед собой, и на его лице не было ничего. Но когда мы проходили мимо пятой двери — той, с мониторами, — я увидела, как он чуть замедлил шаг. Как будто хотел что-то сказать. Как будто передумал.

В комнате он пристегнул цепь обратно к стене. Проверил браслет — поправил ткань. И ушёл.

А я осталась сидеть на матрасе, смотреть на свои запястья — красные, с лёгкими вмятинами от ремней, — и думать о том, что я видела.

Потому что когда он уходил, я успела заглянуть в его блокнот.

Он лежал открытым на стуле — видимо, Кай забыл его,

или положил, или... Нет. Он не забывал. Он никогда ничего не забывал. Но блокнот лежал открытым, и я увидела страницу — ту самую, где он записывал мои ответы. Столбцы, строки, аккуратный почерк. Данные. Графы.

А на полях, сбоку, где не было никаких граф, — одна буква.

«Е.»

Обведённая дважды. С нажимом, от которого бумага продавилась. Как будто он писал её и не мог остановиться. Как будто эта буква значила больше, чем все данные в столбцах.

Я закрыла глаза. Лампочка мигала. Цепь лежала на матрасе.

И где-то под рёбрами, там, где страх смешивался с одиночеством, с упрямством и с той новой, только что родившейся частью меня, — что-то шевельнулось.

Он записал меня на полях.

Не в графу «данные». Не в столбец «результаты». На полях — туда, где пишут то, что не помещается в систему. Туда, где оставляют пометки для себя.

Я не знала, что это значит.

Но я собиралась выяснить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.